

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Лев
ТОЛСТОЙ

Метель



ImWerdenVerlag
München 2005

I

В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркаска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За стационарным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки и небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас.

Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить вбок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой.

— Не заблудиться бы нам? — сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос: — Что, доедем до станции, ямщик? не заблудимся?

— А Бог знает, — отвечал он мне, не поворачивая головы, — вишь, какая поземная расходится: ничего дороги не видать. Господи-батюшка!

— Да ты скажи лучше, надеешься ты довезти до станции или нет? — продолжал я спрашивать. — Доедем ли?

— Должны доехать, — сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром.

Ворочаться мне не хотелось; но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть Земли Войска Донского, казалось очень невесело. Притом же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то не ямская — большая, раскачивающаяся в разные стороны; да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы за кучера, и, главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилась и как будто не обещала ничего хорошего эта серьезная сторбленная спина, торчавшая передо мною.

— А по-моему, лучше бы воротиться, — сказал мне Алешка, — плутать-то что веселого!

— Господи-батюшка! вишь, несет какая кура! ничего дороги не видать, все глаза залепило... Господи-батюшка! — ворчал ямщик.

Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алешке, неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу.

— Что? куда ты? сбились, что ли? — спрашивал я; но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сек ему глаза, отошел от саней.

— Ну что? есть? — повторил я, когда он вернулся.

— Нету ничего, — сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами.

— Что ж будем делать? — спросил я, когда мы снова тронулись.

— Что ж делать! поедем куда Бог даст.

И мы поехали тою же мелкой рысью, уже очевидно целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту.

Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро; заметь низовая все усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег.

Ясно было, что мы едем Бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба.

— Что, как ты думаешь, — спросил я опять ямщика, — доедем мы до станции?

— До которой? Назад приедем, коли дать волю лошадям: они привезут; а на ту вряд... только себя погубить можно.

— Ну, так пускай назад, — сказал я, — и в самом деле...

— Стало, ворочаться? — повторил ямщик.

— Да, да, ворочайся!

Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и, хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать.

— Анадьсь так-то в заметь обратные с той станции поехали, — сказал он, — да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзли — холод был. И то один ноги позаморозил — так три недели от них умирал.

— А теперь ведь не холодно и потише стало, — сказал я, — можно бы ехать?

— Оно тёпло-то, тёпло, да метет. Теперь взад, так оно полегче кажет, а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульер али что, по своей воле; а то ведь шутка ли — седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать?

II

В это время сзади нас слышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.

— Колокол кульерский, — сказал мой ямщик, — один такой на всей станции есть.

И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош: чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотничье заведение: три колокольчика — один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой степи.

— Пошта бежит, — сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поравнялась с нами. — А что дорога? проехать можно? — крикнул он заднему из ямщиков; но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему.

Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас.

Должно быть, моему ямщику стало стыдно.

— А то поедемте, барин! — сказал он мне, — люди проехали — теперь же их следок свежий.

Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно; потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти; как и прежде, ездили и против ветра и по ветру, и вправо и влево, и наконец дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу; но все тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось; но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные белые слои снега и дорога мне виднелась только в воображении, — как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!» — но голос мой, я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани, — саней не было, пошел направо — тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!» — тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура, с кнутиком и с огромной, свихнувшейся набок шапкой, вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.

— Еще спасибо — тепло, — сказал он, — а морозом хватит — беда!.. Господи-батюшка!

— Пускай лошадей, пусть везут назад, — сказал я, усевшись в сани. — Привезут? а, ямщик?

— Должны привезть.

Он бросил вожжи, ударил раза три кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотничий колокольчик и еще два; но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотничьим колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков, слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица.

Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».

III

Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону.

— Вишь, черт косоглазый, не видит, куда воротит, — на людей! Черт! — принялся ругаться хриплым, дребезжащим голосом один невысокий ямщик; старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего ямщика.

Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади и ямщик скрылись в белой мгле метели.

— Василии-ий! давай сюда буланого, так не поймашь, — послышался еще его голос.

Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, **влез по шлее на одну из лошадей** и, хрустя по снегу, спутанным галопцем скрылся по тому же направлению.

Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше.

— Как же! поймает! — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. — Уж коли к лошадям не пошла, значит, оголтелая лошадь, туда заведет, что и... не выйдет.

С тех пор как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до Рождества недостает и живут заработками, что меньшей брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец; что из их села каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не ездил ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава Богу, по 120 рублей ассигнациями в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, «да кульеры очень звери, да и народ здесь все ругатель».

— Ну, чего ругался ямщик-то этот? Господи-батюшка! разве я нарочно ему лошадей оборвал? разве я кому злодей? И чего поскакал за ними! сами бы пришли; а то только лошадей заморит, да и сам пропадет, — повторял богобоязненный мужичок.

— А это что чернеется? — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас.

— А обоз. То-то любезная езда! — продолжал он, когда мы поравнялись с огромными, покрытыми рогожами возами, шедшими друг за другом на колесах. — Гляди, ни одного человека не видать — все спят. Сама умная лошадь знает: не собьешь ее с дороги никак. **Мы тоже езжали с рядою**, — прибавил он, — так знаем.

Действительно, странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные от рогожного верха до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая петая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и настожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поравнялись с ней.

Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне.

— А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?

— Не знаю, — отвечал я.

— Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем, — заключил он совершенно спокойно.

Видно было, что, несмотря на то, что он был очень трусоват, — на миру и смерть красна, — он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прехладнокровно делал наблюдения над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа; мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по кособору или под гору, тогда как степь была везде ровная.

Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось, далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу; но через минуту мне уже ясно ста-

ло, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже; точно так же люди все спали под рогожами; и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настороживала уши.

— Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали! — сказал мой ямщик недовольным тоном. — Кульерские лошади добрые: то-то он так и гонит дуром; а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим.

Он прокашлялся.

— Вернемся-ка, барин, от греха.

— Зачем? куда-нибудь да приедем.

— Куда приехать? уж будем в степи ночевать. Как метет... Господи-батюшка!

Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно уже потеряв и дорогу и направление, не отыскивал дороги, а, весело покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них.

— Пошел за ними, — сказал я.

Ямщик поехал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.

IV

Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутанья, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразило, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и, когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, вошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, — это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая — курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и [сделав себе из армяка затишку](#), сидели двое и не переставая курили трубочку, что видно было по искрам, блестящим оттуда; и третья, в которой никого не видно было и, предположительно, ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ошупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрикивание и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому:

— Слышь, Игнашка! влево совсем забрали: правее забирай, под погоду-то. — Или: — Что кружишь дуром? по снегу ступай, как снег лежит, — как раз выедешь. — Или: — Вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой! вишь, чернеет что-то, столб, ни-

как. — Или: — Что путаешь-то? что путаешь? Отпряжь-ка пегого да пусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет!

Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка, и когда Игнашка-передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на кульерских ездил, то и поехал бы и вывел бы как раз на дорогу.

— А наши лошади в заметь передом не пойдут! — крикнул он, — не такие лошади!

— Так не мути! — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей.

Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя не спал еще, о чем я заключал по неугаваемой его трубочке и по тому, что, когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему:

— Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет! Сказано, метель! Теперь землемер самый, и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем... пошел знай!

— Как же! небось поштальон, в прошлом году, до смерти замерз! — отозвался мой ямщик.

Ямщик третьей тройки не просыпался все время. Только раз, во время остановки, советчик крикнул:

— Филипп! а Филипп! — И, не получив ответа, заметил: — Уж не замерз ли? Ты бы, Игнашка, посмотрел.

Игнашка, который попевал на все, подошел к саням и начал толкать спящего.

— Вишь, с косушки как его разобрало! Замерз, так скажи! — говорил он, раскочивая его.

Спящий промычал что-то и ругнулся.

— Жив, братцы! — сказал Игнашка и снова побежал вперед; и мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.

V

Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли и догнали нас; но каким образом сделали они это в темную, слепую метель, среди голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной (другие две лошади были привязаны к хомуту: в метель нельзя бросать лошадей). Поравнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика:

— Вишь, черт косоглазый! право...

— Э, дядя Митрич! — крикнул сказочник из вторых саней, — жив? полезай к нам.

Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням.

— Всех поймал? — сказали ему оттуда.

— А то нет!

И небольшая фигура его на рыси грудью ввалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, пробежала за санями и ввалилась в них, с выпу-

ценными кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу.

— Вишь, ругатель... Господи-батюшка! — пробормотал мой ямщик.

Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза — та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ременными поводками узды поматывается, все в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром; виднеется из-за спины та же гнеденькая пристяжная направо, с коротко подвязанным хвостом *и вальком, изредка постукивающим о лубок саней*. Посмотришь вниз — тот же сыпучий снег разрывает полозья, и ветер упорно поднимает и уносит все в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора — ничего не видно. Везде все бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убежать дальше и дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх — покажется светло в первую минуту, кажется, сквозь туман видишь звездочки; но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзшему черепку, ясно долетают до слуха энергичное посвистыванье Игната и залиvistый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой, и звуки эти вдруг отрадно нарушают унылый характер пустыни и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начинала у меня зябнуть, и, когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать; но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня.

VI

Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении.

«Советчик, что все кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, — думаю я, — вроде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепьяно из флигеля; вижу Федора Филиппыча с завороченными рукавами нанкового скюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит не переставая:

— На себя возьми передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь! Вот так.

— Уж вы позвольте, Федор Филиппыч! мы одни, — робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол рояля.

Но Федор Филиппыч не унимается.

«И что это? — рассуждал я, — думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что Бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно быть, так». И я вижу почему-то пруд, усталых дворовых, которые, по колено в воде, тянут невод, и опять Федор Филиппыч, с лейкой, крича на всех, бегаёт по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придерживав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца, иду куда-то, я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Все вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош, и одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтоб утешиться; но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх: глазам больно — солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями, — и кажется еще жарче.

Я закрываю лицо платком: становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаше. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергично клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чиликнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и так же, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе, слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забила около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать: пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор:

— Ах, батюшки! Да что ж это! и мужчин никого нету!

— Что это, что? — спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая, охая, бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и стопятилетняя старуха Матрена, придерживая рукою платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка, в отцовском сюртуке, держась за посконную юбку одной из них, поспешает сзади.

— Что случилось? — спрашиваю я у них.

— Мужик утонул.

— Где?

— В пруде.

— Какой? наш?

— Нет, прохожий.

Кучер Иван, ёрзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними.

Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе», — чего мне именно и хочется.

— Где же, где? — спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу.

— Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти, — говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. — Я гляжу, что он ныряет; а он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет: «Тону, батюшки!» — и опять ушел на низ, только пузырьрики пошли. Тут я увидала, мужик тонет. Как взвою: «Батюшки, мужик тонет!»

И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда.

— Вишь, грех какой! — говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом, — что теперь хлопот с земским судом будет — не оберешься.

Какой-то один мужик с косою пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается.

— Где же, где он утонул? — все спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное.

Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода все так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце; и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более что весьма плохо плаваю; а мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием; но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку: он не умеет плавать.

Народ все сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга; но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, дают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаянье; из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять, на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи; мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.

Но вот от дому, с лаем и в недоумении оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Федора Филиппыча; но вот и самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за шиповниковой клумбы.

— Что стоите? — кричит он, на бегу снимая сюртук. — Человек потонул, а они стоят! Давай веревку!

Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой.

— Вон там, где народ стоит, так вот поправее ракиты, Федор Филиппыч, вон там-то, — говорит ему кто-то.

— Знаю! — отвечает он и, нахмутив брови, должно быть, в ответ на признаки стыдливости, выражающейся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик, передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергичически ступая по скошенной траве, подходит к пруду.

Трезорка, в недоумении насчет причин этой быстроты движений своего господина, остановившись около толпы и чмокая съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него и, вдруг весело взвизгнув, вместе с своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас; но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно подымая и опуская белую спину, саженьями, бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает

к тому берегу, два кучера прибегают к раките с свернутым на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает кверху руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону.

Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескивание по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрытая травой, дальше и дальше выходит из воды.

— Теперь вместе тяни, дружной, разом! — кричит голос Федора Филиппыча. **Показываются комола, облитые водой.**

— Есть что-то, тяжело идет, братцы, — говорит чей-то голос.

Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмущившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно слышный среди мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе.

— Тащи, дружной, на сухое, тащи! — слышится решительный голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките.

И вот я вижу мою добрую старую тетюшку в шелковом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему **употребить арнику**, и помню больное, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне, с наивным эгоизмом любви, сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты все один купаешься и плаваешь».

Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые белые кудрявые тучи сбились на горизонте, как грязь, вытащенная неводом у берега, понемногу расходилась и как, проходя по плотине, я снова услышал удары валька, разносящиеся по пруду.

Но валец этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию, и звук этот мучит, томит меня, тем более что я знаю — этот валец есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит замолчать его. И валец этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет, — я засыпаю.

Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня.

— Слышь, Игнат, а Игнат! — говорит голос моего ямщика, — возьми седока — тебе все одно ехать, а мне что даром гонять! возьми!

Голос Игната подле самого меня отвечает:

— А что мне радости-то за седока отвечать?.. Поставишь полштофа?

— Ну, полштофа!.. косушку — уж так и быть.

— Вишь, косушку! — кричит другой голос, — лошадей помучить за косушку!

Я открываю глаза. Все тот же несносный колеблющийся снег мерещится в глазах, те же ямщики и лошади, но подле себя я вижу какие-то сани. Мой ямщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голос из других саней советует не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку.

— Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Клади много, что ли?

Мой ямщик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен; но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость: он кланяется, благодарит меня, Алешку, Игнашку.

— Ну вот и слава Богу! а то что это, Господи-батюшка! половина ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет, батюшка барин, а мои уж лошади вовсе стали.

И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью.

Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с которой от ветра завешен был на головах двух ямщиков армяк, были на четверть занесены снегом; за армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же, с выпущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку:

— В то самое время, как генерал от королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал! я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и, значит, ты мне не любовник; а любовник мой есть тот самый принц...» В то самое время... — продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку.

— Что, барин, сказочку пришли послушать? — сказал другой, которого я называл советчиком.

— Да у вас славно, весело! — сказал я.

— Что ж! от скуки, — по крайности не думается.

— А что, не знаете вы, где мы теперь?

Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ямщикам.

— А кто е разберет, где? може, и к калмыкам заехали вовсе, — отвечал советчик.

— Что же мы будем делать? — спросил я.

— А что делать? Вот едем, можь, и выедем, — сказал он недовольным тоном.

— Ну, а как не выедем да лошади станут в снегу, что тогда?

— А что! Ничего.

— Да замерзнуть можно.

— Известно можно, потому и стогов теперича не видать: значит, мы вовсе к калмыкам заехали. Первое дело надо по снегу смотреть.

— А ты, никак, боишься замерзнуть, барин? — сказал старичок дрожащим голосом.

Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки.

— Да, холодно очень становится, — сказал я.

— Эх ты, барин! А ты бы, как я: нет-нет да и пробегись — оно тебя и согреет.

— Первое дело, как пробежишь за санями, — сказал советчик.

VII

— Пожалуйте: готово! — кричал мне Алешка из передних саней.

Метель была так сильна, что насилу-насилу, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шинели, я мог по колеблющемуся снегу, который выносило ветром из-под ног, пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ямщик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней, но, увидав меня, снял свою большую шапку, при чем ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он, верно, и не ожидал, чтобы я дал ему, потому

что отказ мой нисколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом, надвинул шапку и сказал мне: «Ну, дай Бог вам, барин...» — и, задержав вожжами и зачмокав, тронулся от нас. Вслед за тем и Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустенья копыт, покрикивания и колокольчика заменили звук завывания ветра, который был особенно слышен, когда стояли на месте.

С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался рассматриванием фигуры нового ямщика и лошадей. Игнашка сидел молодцом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукою с висящим кнутом на лошадей, покрикивал, постукивал ногой об ногу и, перегибаясь вперед, поправлял шлею коренной, которая все сбивалась на правую сторону. Он был невелик ростом, но хорошо сложен, как казалось. Сверх полушубка на нем был надет неподпоясанный армяк, которого воротник был почти откинут, и шея совсем голая; сапоги были не валяные, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна была не только энергия, но еще более, как мне казалось, желание возбудить в себе энергию. Однако, чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, оправляясь, подпрыгивал на облучке, похлопывал ногой об ногу и заговаривал со мной и Алешкой: мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего: хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее, и заметно было, как лошади бежали неохотнее: уже надобно было постегивать, и коренная, добрая большая косматая лошадь, спотыкнулась раза два, хотя тотчас же, испугавшись, дернула вперед и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая пристяжная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ременной кисточкой шлеи, бившейся и подпрыгивающей с полевой стороны, заметно **спускала построжки**, требовала кнутика, но, по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовала на свою слабость, сердито опускала и подымала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз все усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту, — и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный солнечный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице, — и главное, странно было думать, что мы всё едем, и шибко едем, куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гаденькой фистулой, но так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его.

— Ге-гей! что горло-то дерешь, Игнат! — слышался голос советчика, — постой на час!

— Чаво?

— Посто-о-о-ой!

Игнат остановился. Опять все замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.

— Ну что?

— Да что! куда ехать-то?

— А кто е знает!

— Что, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?

— Вовсе зашлись.

— А ты бы вот сходил: во-он маячит — никак, калмыцкое кочевье. Оно бы и ногито посогрел.

— Ладно. Подержи лошадей... на.

И Игнат побежал по указанному направлению.

— Все надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! — говорил мне советчик, — вишь, как лошадей упарил!

Все время, пока Игнат ходил, — а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился, — советчик говорил мне самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели, как лучше всего отпречь лошадь и пустить, что она, как Бог свят, выведет, или как иногда можно и по звездам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.

— Ну что, есть? — спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колени в снегу.

— Есть-то есть, кочевье, видать, — отвечал, задыхаясь, Игнат, — да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левой брать.

— И что мелет! это вовсе наши кочевья, которые позадь станицы, — возразил советчик.

— Да говорю, что нет!

— Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Все надо правой забирать: как раз и выедем на большой мост — осьмую версту.

— Да говорят, что нет! Ведь я видал! — с досадой отвечал Игнат.

— Э, брат! а еще ямщик!

— То-то ямщик! ты сходи сам.

— Что мне ходить! я так знаю.

Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнал дальше.

— Вишь, как зашлись ноги: ажно не согреешь, — сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенищи.

Мне ужасно хотелось спать.

VIII

«Неужели это я уже замерзаю, — думал я сквозь сон, — замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, все равно — утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы».

Я забываюсь на секунду.

«Чем же, однако, все это кончится? — вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство, — чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится, — мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильнее маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мной. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ямщик, с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун! — кричит он, — ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Дейст-

вительно, нам тепло и уютно; только хочется пить. Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу — и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделайте себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» — говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребеце мои деньги, говорит: «Стой! давай деньги. Все одно умирать!» — и хватает меня за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее; рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно — стыдно тем более, что тетушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. Они смеются и не понимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и животом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник... и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подька посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснись лучше...

Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.

Я смотрю, где стоги; но вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом и крепость: мне, главное, хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.

IX

Я спал крепко; но терция колокольчиков все время была слышна и виделась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то органа, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывая ногами; та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и отпуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но все это больше, чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полкой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.

Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь

кругом — все бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи на передок и слез. Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги.

— Что это ты делаешь? — спросил я.

— Перебуться надо; а то вовсе ноги заморозил, — отвечал он и продолжал свое дело.

Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат санями, вскочив на облучок, разбудил меня.

— Что, где мы теперь? — спросил я, — доедем ли хоть к свету?

— Будьте покойны: доставим, — отвечал он. — Теперь важно ноги согрелись, как перебудся.

И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега.

Х

Я заснул крепко. Когда же Алешка, толкнув меня ногой, разбудил и я открыл глаза, было уже утро. Казалось еще холодней, чем ночью. Сверху снега не было; но сильный сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле и особенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжелое, темно-синеватого цвета; но яркие красно-оранжевые косые полосы яснее и яснее обозначались на нем. Над головами, из-за бегущих белых, едва окрашивающихся туч, виднелась бледная синева; налево облака были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный, глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий бугорок, через который упорно летела мелкая, сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного, следа не было видно. Очертания и цвета спины ямщика и лошадей виднелись ясно и резко даже на белом фоне... Околыш Игнашкиной темно-синей шапки, его воротник, волосы и даже сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. У сивой коренной вся правая часть головы и холки были набиты снегом; у моей пристяжной ноги обсыпаны были до колен, и весь сделавшийся кудрявым потный круп облеплен с правой стороны. Кисточка подпрыгивала так же в такт какого бы ни захотел воображать мотива, и сама пристяжная бежала так же, только по впадому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвисшим ушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет оставлял внимание: это был верстовой столб, с которого сыпало снег на землю и около которого ветер намел целую гору справа и все еще рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и все-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел как будто еще веселее. Игнат замахивался и покрикивал; сзади фыркали лошади и звенели колокольчики троек старичка и советчика;

но тот, который спал решительно, в степи отбился от нас. Проехав полверсты, попался свежий, едва занесенный следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась, верно, виднелись на нем.

— Это Филипп! Вишь, раньше нас угодил! — сказал Игнашка.

Но вот домишко с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш и окон занес его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с отставленными ногами и понурыми головами. Около двери расчищено и стоит лопата; но с крыши все метет еще и крутит снег гудящий ветер.

Из двери на звон наших колоколов выходит большой, красный, рыжий ямщик, со стаканом вина в руках, и кричит что-то. Игнашка обертывается ко мне и просит позволения остановиться. Тут я в первый раз вижу его рожу.

XI

Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносое, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая, совершенно курносая рожа, с большим ртом и светло-ярко-голубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красны, как натертые суконкой; брови, длинные ресницы и пушок, ровно покрывающий низ его лица, были залеплены снегом и совершенно белы. До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились.

— Только поскорее, — сказал я.

— В одну минутую, — отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу.

— Давай, брат, — сказал он, снимая с правой руки и бросая на снег рукавицу с кнутом, и, опрокинув голову, залпом выпил поданный ему стаканчик водки.

Целовальник, должно быть, отставной казак, с полуштофом в руке, вышел из двери.

— Кому подносить? — сказал он.

Высокий Василий, худощавый русский мужик с козлиной бородкой, и советчик, толстый, белобрый, с белой густой бородой, обкладывающей его красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду.

Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным посинелым лицом, жиденькой бородкой, острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была ямская, совершенно новая, но полушубчишко истертый, испачканный дегтем и прорванный на плече и полах, не закрывал колен и посконного нижнего платья, всунутого в огромные валяные сапоги. Сам он весь сторбился, сморщился и, дрожа лицом и коленами, копошился около саней, видимо, стараясь согреться.

— Чтó ж, Митрич, поставь косушку-то: согрелся бы важно, — сказал ему советчик.

Митрича подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошел ко мне.

— Что ж, барин, — сказал он, снимая шапку с своих седых волос и низко кланяясь, — всю ночь с вами плутали, дорогу искали: хоть бы на косушечку пожаловали. Право, батюшка, ваше сиятельство! А то обогреться не на что, — прибавил он с подбострастной улыбкой.

Я дал ему четвертак. Целовальник вынес косушку и поднес старичку. Он снял рукавицу с кнутом и поднес маленькую черную, корявую и немного посиневшую руку

к стакану; но большой палец его, как чужой, не повиновался ему: он не мог удержать стакана и, разлив вино, уронил его на снег.

Все ямщики расхохотались.

— Вишь, замерз Митрич-то как! аж вина не сдержит.

Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино.

Ему, однако, налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбегал в кабак, запалил трубку, стал ослаблять свои желтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив последнюю косяку, ямщики разошлись к тройкам, и мы поехали.

Снег все становился белее и ярче, так что ломило глаза, глядя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу; даже красный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи; лазурь стала блестящее и темнее. По дороге, около станицы, след был ясный, отчетливый, желтоватый, кой-где были ухабы; в морозном, сжатом воздухе чувствительна была какая-то приятная легкость и прохлада.

Моя тройка бежала очень быстро. Голова коренной и шея с развевающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном месте, под охотничьим колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые пристяжные дружно натянули замерзлые кривые постромки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлею. Иногда пристяжная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запорашивала глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал веселым тенором; сухой мороз повизгивал под полозьями; сзади звонко-празднично звенели два колокольчика и слышны были пьяные покрикиванья ямщиков. Я оглянулся назад: серые курчавые пристяжные, вытянув шеи, равномерно сдерживая дыхание, с перекосившимися удилами, попрыгивали по снегу. Филипп, помахивая кнутом, поправлял шапку; старичок, задрал ноги, так же как и прежде, лежал в середине саней.

Через две минуты сани заскрипели по доскам сметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне свое засыпанное снегом, дышащее морозом, веселое лицо.

— Доставили-таки, барин! — сказал он.

11 февраля 1856

МЕТЕЛЬ

Примечания

Впервые: «Современник», 1856, № 3, с. 85—113 (ценз. разр. 29 февраля 1856 г.).
Подпись: Граф Л. Толстой.

Рукописи не сохранились.

Печатается по тексту «Современника» со следующими исправлениями:

что было холодно — *вместо*: что было не холодно (по смыслу).

охотницкий колокольчик — *вместо*: охотничий колокольчик.

номер главы VII — вместо: VIII (опечатка); далее нумерация глав меняется соответственно.

На пути с Кавказа в Россию Толстой записал в дневнике 27 января 1854 г.: «Был в дороге. 24 в Белогородцевск<ой>, 100 <верст> от Черк<асска>, плутал целую ночь. И мне пришла мысль написать рассказ Метель». 2 февраля, уже в Ясной Поляне, появилась новая запись о дорожных впечатлениях: «Ровно две недели был в дороге. Поразительного случилось со мной только метель».

Два года спустя, вернувшись из Севастополя, Толстой обратился к замыслу, возникшему тогда в дороге. Непосредственная работа над рассказом была начата в Петербурге в конце января 1856 г. 2 февраля в дневнике запись — задание на следующий день: «Я в Петербурге. <...> Завтра привожу в порядок бумаги, пишу письма П<елагее> И<льиничне> и старосте и набело метель, обедаю в шахмат<ном> клубе и все пишу еще метель...». Через день в дневнике Толстой отметил, что «утром писал немного».

Новый толстовский рассказ чрезвычайно обрадовал Некрасова, который ждал «Метель» в мартовский номер «Современника», о чем писал В. П. Боткину 7 февраля 1856 г.: «Вернулся Толстой и порадовал меня: уж он написал рассказ — и отдает его мне на 3-ью книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал» (Некрасов, т. 14, кн. 2, с. 8). 9 февраля газета «Северная пчела» (№ 32) опубликовала объявление И. И. Панаева и Н. А. Некрасова о выходе в свет второй книжки «Современника» за 1856 год; в этом объявлении сообщалось также, что «для следующих книжек “Современника” в редакцию поступили» новые произведения, среди которых «“Метель”, рассказ графа Л. Н. Толстого (Л. Н. Т.)». Та же информация появилась на страницах газет «Московские ведомости» («Прибавление к № 18» — 11 февраля) и «Русский инвалид» (№ 35, 12 февраля).

Работа над рассказом продолжалась всю первую декаду февраля; 11 февраля рассказ окончен (подписана авторская дата). «Окончил метель, ей очень довольны», — записал Толстой в дневнике 12 февраля. Очевидно, что речь идет о редакции «Современника».

В конце февраля князь П. А. Вяземский устроил у себя литературный вечер, пригласив Толстого. «Я передал графу Толстому приглашение Вашего сиятельства, — писал Вяземскому 24 февраля И. С. Тургенев, — и он просил меня сообщить Вам, что с

удовольствием явится к Вам в субботу, в 10-м часу вечера. Я приду вместе с ним» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 82). На следующий день в доме князя Вяземского Толстой читал «Метель».

Известный литератор, профессор Петербургского университета А. В. Никитенко в своем дневнике 29 февраля отметил, что «на днях был на двух литературных чтениях», в том числе и «у князя Вяземского, где читал свое произведение граф Толстой» (Никитенко А. В. *Дневники*: В 3 т. Л., 1955—1956, т. 1, с. 431). 27 февраля Тургенев общал С. Т. Аксакову о Толстом: «Он написал превосходный рассказ, под названием “Метель”. Вы увидите его в мартовской книжке “Современник>а”» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 83). Сам Толстой много лет спустя вспоминал о чтении у князя Вяземского, о том, как «он стеснялся и читал плохо», что на другой день в ресторане у Дюссо, куда он зашел с другом бароном Ферзенем, услышал, как один офицер говорил, «что вчера было плохое чтение Толстого» («Толстой о литературе и искусстве. Записи П. А. Сергеенко» — *ЛН*, т. 37—38, с. 540 — запись от 13 января 1899 г.).

В эти последние февральские дни Толстой окончательно отделял рассказ. Отправляя рукопись Некрасову, он заметил в сопроводительной записке: «Кое-что я переделал, переписал и сократил, но признаюсь, еще переписывать бы не хотелось. Ежели не слишком дурно написано, особенно последний лист, то отдавайте в типографию. Я постараюсь зайти к вам утром». В самых последних числах февраля «Метель» среди других материалов «Современника» была рассмотрена в Петербургском цензурном комитете, и 29 февраля получено цензурное одобрение. 9 марта газета «Русский инвалид» (№ 55) напечатала объявление о выходе из печати третьего номера журнала «Современник»; перечисляя материалы, составившие номер, газета рядом с фамилией автора «Метели» Толстого в скобках напомнила знакомые читателям литеры «Л. Н. Т.». То же объявление 10 марта напечатали «Северная пчела» (№ 56) и «Прибавление к № 30 “Московских ведомостей”». Билет на выпуск из типографии третьей книжки «Современника» цензор В. Н. Бекетов подписал 10 марта 1856 г. («Ведомость о рассмотренных С.-Петербургским цензурным комитетом рукописях и печатных книгах в течение марта месяца 1856 г.» — *РГИА*, ф. 772, оп. 1, № 3808).

В рассказе «Метель» очевидно отразились впечатления и воспоминания Толстого о метели, в которую он попал 24 января 1854 г. Портреты и характеристики ямщиков тоже почерпнуты из памяти об этом «поразительном» случае. В грезах седока, безусловно, появляется Ясная Поляна: сад, пруд, березовая аллея, дворовый люд, отдельные черточки и штрихи портретов, даже имена (Федор Филиппыч, Яков Иванов) — всё это знакомые яснополянские места и люди. И в «доброй старой тетушке в шелковом платье» с «лиловым зонтиком с бахромой» узнаваема Татьяна Александровна Ергольская.

Гонорар за «Метель» должен был покрыть долг Толстого «Современнику» в 400 рублей. Однако из-за стесненных материальных обстоятельств Толстой просил Некрасова в записке 29—30 марта заплатить «деньги за “Метель” теперь, а чтоб долг 400 р. оставался до следующего писанья». Просьба Толстого была исполнена: на этой же записке неизвестной рукой написано: «За “Метель” заплачено. 30 марта произведен счет, — за Толстым осталось: 400 рублей ... 500: Итого к 1-му апреля за Толстым 900».

При жизни Толстого рассказ входил во все собрания сочинений писателя, отдельно же или в составе других сочинений почти не печатался.

В 1857 г. Некрасов готовил к изданию книжки «Для легкого чтения» и обратился к Толстому с предложением дать для этих сборников несколько произведений за вполне хорошую плату. «Еще имею к Вам следующее предложение, наперед оговариваясь, что если не найдете удобным или выгодным, то можете отказаться, нимало не огорчив меня, — писал издатель Толстому 27 июля 1857 г. — Дайте мне три Ваши повести —

“Двух гусаров”, “Метель” и “Утро помещика” — для “Легкого чтения”, а я Вам дам тысячу франков. Уведомьте о Вашем решении поскорее — издание это остановилось за недостатком хороших материалов. Ежели не найдете удобным дать мне эти три повести на предложенном условии, то дайте хоть одну (небольшую, “Метель” или “Утро”, за 75 р. сер.) для VI книжки, которая уже печатается и которую мне хотелось бы скрасить» (Некрасов, т. 14, кн. 2, с. 85). Но в эту некрасовскую книжку «Метель» не попала. Не суждено было рассказу открыться и задуманное автором отдельное издание своих сочинений, которое он предлагал графу Г. А. Кушелеву-Безбородко в письме 26 марта 1859 г.: «Из печатанных в журналах моих сочинений есть большая половина не напечатанных отдельным изданием, — писал Толстой графу, перечисляя далее все произведения, вышедшие после “Севастополя в августе”, начиная с “Метели” и кончая рассказом “Три смерти”. — Предполагая, что перепечатка этих сочинений может мне принести что-нибудь, и зная, что Вы берете на себя издания некоторых русских авторов, я предлагаю Вашему сиятельству эти вещи, предоставляя Вам назначить время, форму и условия издания». Письмо осталось неотправленным, а издание неосуществленным.

Второй раз «Метель» вышла в свет в двухтомнике Л. Н. Толстого, изданном Ф. Стелловским. Толстой не готовил текст рассказа к этому изданию, но по инициативе издателя и по вине наборщиков в рассказе появились некоторые разночтения. В дальнейшем «Метель» печаталась по этому изданию, без правки автора.

Тогда же, в 1864 г., фрагмент рассказа был использован педагогом А. Н. Острогорским в его книге «На досуге. Этюды по естествознанию А. Острогорского» (СПб., вып. 1, 1864). В разделе «Четыре времени года» под заголовком «“Метель” (Л. Н. Толстого)» была напечатана большая часть пятой главы, начиная со слов: «Долго после этого мы ехали...». Текст Толстого сопровождался пояснениями Острогорского, откуда и куда дует холодный ветер и какой при этом бывает мороз.

Рассказ Толстого был тепло принят читающей публикой и писателями, хотя находили в нем и недостатки. С. Т. Аксаков уже через день после выхода в свет «Современника» писал Тургеневу: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что “Метель” — превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал. Скажите ему, что подробностей слишком много, однообразие их несколько утомительно. Хотя я мало с ним знаком, но не боюсь сказать ему голую правду» («Русское обозрение», 1894, № 11, с. 583). В. П. Боткин сообщал Некрасову из Москвы 24 марта, что «Метель» «находят растянутой, но превосходной» (Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т. М., 1987, т. 1, с. 217). Нравилась «Метель» А. Н. Островскому (Новский Л. Воспоминания об А. Н. Островском — «Русские ведомости», 1887, 18 мая, № 134, с. 3).

Сам Толстой в письме 25 марта спрашивал брата С. Н. Толстого: «Как понравилась тебе “Метель”? Я ей недоволен — серьезно. А теперь писать многое хочется, но решительно некогда в этом проклятом Петербурге». Мнение сестры тоже было важно Толстому: «Как ты нашла “Метель”? — писал он М. Н. Толстой 14 апреля 1856 г. — Боюсь, что она тебе не понравилась, и ждал и жду твоего суда. Хотел ее тебе посвятить, да не стоило».

Прочитав «Метель», А. В. Сухово-Кобылин, только что закончивший и теперь готовивший к печати комедию «Свадьба Кречинского», записал в своем дневнике 31 марта: «Получил “Современник”. “Метель” Толстого — превосходная вещь. Художественная живость типов. Меня разобрало, — пришлось еще пробежать комедию...» (ЛН, т. 51—52, кн. 2, с. 519).

Первые оценки журнальной критики появились уже в марте. Безымянный рецензент журнала «Пантеон», давая краткий обзор первых книг литературных журналов за 1856 год, назвал «Метель» «хорошенькой картинкой, но без всякой мысли и содержания» («Пантеон», 1856, т. XXVI, кн. 3, «Петербургский вестник», с. 18). Более обстоятельный, но столь же нелестный отзыв о новом рассказе Толстого опубликовала газета «Санкт-Петербургские ведомости» (1856, 1 апреля, № 75, с. 424). Рецензент газеты Вл. Зотов, представляя третий номер «Современника», сообщал, что в мартовской книжке журнала «встречаются несколько имен, любимых публикою», однако знакомство с этим номером породило в его душе «тяжелое чувство несбывшегося ожидания». Рассматривая произведения «гр. Л. Н. Толстого (Л. Н. Т.)» и Д. В. Григоровича, критик отмечал, что опубликованные в этой книжке их вещи «принадлежат к далеко не лучшим и напоминают даровитых писателей только некоторыми подробностями, а не общим впечатлением их труда». «Так рассказ графа Л. Н. Толстого “Метель” включает в себе превосходные картины зимней вьюги и двенадцатичасовой поездки ночью по снежным пустыням Земли Войска Донского, но картины эти не оживлены никакою мыслью, никаким содержанием; даже портреты ямщиков, главных действующих лиц этого рассказа, как-то неясны и оставляют сбивчивое впечатление». «Лучшим эпизодом рассказа» рецензент считал «сон автора», в котором все «рассказано чрезвычайно живо, рельефно, как обыкновенно рассказывает гр. Толстой; но от недостатка содержания даже эти двадцать страниц с небольшим кажутся длинными». «Еще неудовлетворительнее и незанимательнее» представлялась рецензенту повесть Григоровича «Пахарь».

Высоко оценил «Метель» А. И. Герцен. «Получил новые журналы русские — много интересного, — писал он М. К. Рейхель 18 (6) июня 1856 г. — Маленький рассказ гр. Толстого (“Метель”) — чудо, вообще движение огромное» (Герцен, т. 26, с. 11).

В сентябре 1856 г. журнал «Библиотека для чтения» опубликовал рецензию А. В. Дружинина «“Метель”. — “Два гусара”. Повести графа Л. Н. Толстого» (№ 9, отд. V, с. 1—30, без подписи). Статью открывал тезис, что Толстой «счастливо, правильно и разумно» начал свою деятельность литератора. «В самой литературной карьере графа Толстого, в порядке его произведений, в приеме, им сделанном», Дружинин видел «правильное, многообещающее развитие, необходимое всякому сильному таланту». И «известность, начавшаяся так разумно, с каждым годом увеличивалась в самой правильной постепенности». Дружинин говорил о «независимости и литературной самостоятельности» Толстого, о «несокрушимой стойкости направления» его творчества, в котором все твердо и свободно, «все строго и соразмерно с своей целью, все стороны мира равны перед поэтическим взглядом писателя». «У него одна вещь беспрестанно дополняет другую, вяжется с общей массой повестей».

Переходя к «подробной оценке» рассказа «Метель», Дружинин сразу определил, что эта «вещь полна тонкой, почти неуловимой поэзии». «В “Метели” даровитый автор создает целую фантастическую картину из предмета, о котором прозаичный человек не способен сказать десяти слов к ряду». «Там — русская проза под пером художника по временам достигает тех пределов, к которым и хороший стих не всегда подходит»; «автор раскрывает перед нами область неуловимых личных ощущений, испытанных им в данный момент его дорожной жизни». Дружинин видел, что «Метель» — одно из «прямых последствий тех разнообразных задатков, которыми так богаты первые произведения графа Толстого». «Обладая в одно время и поэтическим инстинктом, и твердым взглядом на жизнь, и даром могучего анализа, и самобытной силой фантазии, наш автор, — писал рецензент, — будет постоянно дарить своих читателей творениями самого многостороннего значения, творениями, из которых, как

мы надеемся, каждое будет представлять собою новую степень полного обладания своим завидным талантом».

Дружинин понимал, что в рассказе «Метель» Толстой поставил перед собой задачу, которая «принадлежит к числу труднейших задач искусства». «Вещи вроде “Метели”, но от начала до конца проникнутые поэзией самых тяжелых моментов человеческого существования, до сих пор удавались у нас лишь Пушкину и Гоголю», — писал автор рецензии, наряду с этими писателями упоминая Тургенева и Фета. «Но ни Фет, ни Тургенев не давали своим вещам того размера, который придан “Метели”. Их прекрасные опыты выигрывали от своей краткости, ибо в вещах, преисполненных тонкого поэтического интереса, одна страница, не достигающая цели, предположенной автором, есть пятно на всем произведении». В связи с этим Дружинин упоминал пушкинское стихотворение «Бесы», которое «потеряло бы половину своей изумительной прелести, если б в нем было хотя два стиха без поэзии». «С прозой, вроде “Метели”, ее автор должен обращаться как с стихотворением», — считал критик. Автора рассказа Дружинин прямо называл «поэтом» и полагал, что «всякое истинное и сильное впечатление поэта имеет право быть переданным, ибо в основании его всегда лежит целый мир поэтических ощущений, тем более неуловимых и тонких, чем предмет их немногосложнее». Толстой ведет рассказ «мастерски. Зорко подмечает он все мельчайшие поэтические подробности внешнего и внутреннего мира, с бесконечной правдой рисует он нам картину за картиною и местами, как, например, в описании своего тревожного сна, возвышается до поэзии поистине изумительной. Начало вьюги, описание обоза, сон, наконец, рассвет и прибытие на станцию — все это способно привести в сумасшедший восторг всякого читателя, чующего поэзию».

Вместе с тем Дружинин видел и слабые моменты в «Метели», когда автор «выказывает свое собственное утомление», когда появляются «подробности ненужные и места, не обработанные достаточно». «Цель не достигнута с одного разу, — писал критик, — тогда как по сущности задачи без этого нельзя было обойтись. С той минуты, как читатель находит первую длинноту в “Метели”, — все произведение уже становится замечательным эпизодом, но никак не оконченным созданием». Дружинин смотрит на него «как на этюд даровитого писателя», но «не может им не наслаждаться» и, хотя не видит «стройности», отмечает, что в рассказе «есть жизнь, есть слог, есть то редкое слияние могучего анализа с тонкой поэзией, которое само по себе, без всяких посторонних примесей, ставит графа Толстого прямо в ряды первоклассных русских писателей».

В «Метели» Дружинин не находил «ни одного выражения “для красоты слога”». А если автор рассказа и «ошибается», то это лишь из-за «обилия подробностей». «Его собственные впечатления не смутны и не сбивчивы, но часто чересчур избыточны, во вред общему ходу рассказа. Описание лошадей с их спинами, физиономиями, кисточками на сбруе, колокольчиками, изображение извозчиков со всеми частями их наряда совершенно верны, но местами излишни», потому что Толстой «не сделал надлежащего *выбора* из своих впечатлений». А именно «*выбор* поэтический», по Дружинину, есть «последняя ступень» «художественного совершенства».

На рецензию Дружинина отозвался журнал «Сын отечества», упомянув ее в обзоре публикаций сентябрьской книжки «Библиотеки для чтения» и напомнив читателям о «повестях графа Л. Н. Толстого “Метель” и “Два гусара”, с таким удовольствием прочитанных многими в “Современнике” нынешнего года» («Сын отечества», 1856, 16 сентября, № 24, с. 262).

В отличие от Дружинина критик «Отечественных записок» С. С. Дудышкин не увидел подлинной поэзии в рассказе «Метель». В № 11 за 1856 год журнал поместил его статью о двух первых только что вышедших сборниках Л. Н. Толстого (с. 11—18).

Здесь Дудышкин не преминул поговорить и о «Метели», заметив, что в рассказе «автор до того пристрастился к мелкой наблюдательности, что забыл о существовании главного художественного правила, по которому отделка мелочей есть дело второстепенное». Анализируя военные рассказы и пытаясь разобраться, чего же «недостает в таланте гр. Толстого», критик предлагал взглянуть пристальнее на «другую его прекрасную картину» — рассказ «Метель». Противопоставляя «Метель» стихотворению Пушкина «Бесы», он писал, что поэт не выдвигает «на первый план свою личность» и «наблюдениями над картиной» не «старается опоэтизировать ее», тогда как Толстой «не забывает путешественника и его личности ни на минуту, он на ней старается сосредоточить интерес, как в картине “Севастополь в августе” старался соединить его на Волде Козельцове. Отсюда картина имеет совершенно особый характер. Путешественник наблюдает все мелочи; видит, которая ресница у ямщика побелена, которое ухо занесено снегом у лошади, чрезвычайно тонко анализирует свою собственную дремоту и свой собственный переход от наблюдений ко сну». Критик считал, что в «Метели» «подмечено превосходно» «самое начало возникновения сновидений» и «сон необыкновенно хорош». Однако, любуясь всей этой картиной, Дудышкин ощущал какую-то тесноту, «точно надел узкое платье, точно фантазия привязана к какому-то довольно мелкому предмету и оттого она не может разгуляться на просторе». Виною этому «та мелкая наблюдательность, которая может, наконец, произвести картину, но картина эта не всегда будет одно и то же значить, что поэзия. <...> Поэзия выше картинности, выше картин, особенно если в этих картинах играет главную роль одна фантазия автора, основанная на личном его чувстве, на ощущениях, до него лично касающихся, когда из-под этих ощущений не проглядывает нечто более общее, принадлежащее целому народу, а не одному лицу».

Далее Дудышкин рассуждал о взаимоотношениях «поэзии» и «истины» и задавал вопрос: «Что в самом деле несправедливого, неистинного в картине гр. Толстого?» И отвечал: «Строгость отделки доведена у него здесь до последних пределов: нет черты, которая не была бы взята прямо из жизни, из наблюдений необыкновенно верных и тонких, а между тем, все эти черты, вся эта наблюдательность, как они холодны кажутся, когда сравнишь их с широкой картиной, нарисованной Пушкиным, от которой в одно и то же время и воображение далеко улетает, и сердце бьется шибко, и ум говорит вам: это истина, неподдельная, непреувеличенная!» «Такая наблюдательность над частями, которой недостает широкого взгляда на целое, — продолжал Дудышкин, — такие картины, которыми невольно любуешься, но которые неглубоко черпают содержание жизни, составляют главный недостаток произведений гр. Толстого. Эта наблюдательность, всегда меткая, не всегда порождает поэзию. Для поэзии нужно чувство шире, многообъемлющее. Поэтому в произведениях разбираемого нами автора тонко обрисованные характеры стоят как-то уединенно».

Толстой, прочитав критику Дудышкина, отметил в дневнике 11 ноября 1856 г.: «умно и дельно».

В декабрьском номере «Современника» за 1856 год была опубликована статья Н. Г. Чернышевского о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого (№ 12, отд. III, с. 53—64), где критик обращал внимание на удивительное мастерство молодого писателя в «изображении внутреннего монолога». «...Та сторона таланта графа Толстого, которая дает ему возможность уловлять эти психические монологи, — писал Чернышевский, — составляет в его таланте особенную, только ему свойственную силу». «Метель», отмечал критик, «вся состоит из ряда подобных внутренних сцен» (с. 57). И в этом же номере в «Заметках о журналах» (№ 12, отд. V) среди замечательных и «даже блестящих явлений» уходящего 1856 года Чернышевский наряду с «Севастополем в августе 1855 года» и повестью «Два гусара» называл «“Метель” графа Толстого» (с. 297).

Представляя журнал «Современник» за истекший год, в начале 1857 г. «Сын отечества» в «Очерке истории русской словесности в 1856 году» называл «лучшие беллетристические произведения», опубликованные в этом журнале: небольшой список открывали все три «замечательные» произведения Толстого, увидевшие свет на страницах «Современника», среди них была упомянута и «Метель» («Сын отечества», 1857, № 4, с. 91).

О рассказе «Метель» критики не забывали и впоследствии. Д. И. Писарев, рассматривая рассказ Толстого «Три смерти», не мог в своей статье не коснуться «Метели». Говоря о «личной, характеристической особенности» Толстого-писателя, он отмечал, что «никто далее его <Толстого> не простирает анализа, никто так глубоко не заглядывает в душу человека, никто с таким упорным вниманием, с такой неумолимой последовательностью не разбирает самых сокровенных побуждений, самых мимолетных и, по-видимому, случайных движений души. Как развивается и постепенно формируется в уме человека мысль, через какие видоизменения она проходит, как накапливает в груди чувство, как играет воображение, увлекающее человека из мира действительности в мир фантазии, как, в самом разгаре мечтаний, грубо и материально напоминает о себе действительность и какое первое впечатление производит на человека это грубое столкновение между двумя разнородными мирами, — вот мотивы, которые с особенной любовью и с блестящим успехом разрабатывает Толстой». Приводя в качестве примеров некоторые моменты из произведений Толстого, первым в этом ряду критик называл «описание сна и пробуждения в “Метели”» («Рассвет», 1859, № 12, отд. II «Библиография», с. 63—64).

Мимоходом упомянул «Метель» и Ап. Григорьев во второй статье о сочинениях Толстого, самокритично названной «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой» («Время», 1862, № 9, отд. II, с. 1—27). Для Григорьева этот рассказ — «художественный этюд, свидетельствующий о необыкновенной силе и особенности таланта» Толстого, «но имеющий <...> характер чисто внешний». Критик пытался определить своеобразие мастерства Толстого в раскрытии психического процесса и видел его прежде всего в «анализе необыкновенно новом и смелом, анализе таких душевных движений, которых никто еще не анализировал»: «Особенность его в том, что он роется глубже всех других», «руководимый своим необычайным анализом». Ап. Григорьев отчетливо запомнил, казалось бы, несущественную, мимолетную деталь в VI главе «Метели»: «Мудрено ли, что при огромном таланте анализ изоцрился до того, что в “Метели” способен влезть в существо воробья, который “притворился, что клюнул”».

Иного рода «этюды» увидел в «Метели» Е. Н. Эдельсон, в 1863 г. опубликовавший в «Библиотеке для чтения» большую статью о только что вышедшей повести «Казачьи» (№ 3, раздел «Современная летопись»). «Приготовлениями к какой-то определенной и яркой деятельности, пробами таланта, еще не определившего своего настоящего призвания», казались критику некоторые ранние сочинения Толстого, явившие собой «как бы этюды, не имея глубокого внутреннего содержания, какова “Метель”» (с. 3).

В журнале «Отечественные записки», № 11—12 за 1863 год, безымянный рецензент, представляя читателям книгу рассказов Николая Успенского и стараясь защитить автора от обвинений в «бесцельной наблюдательности», в изображении «одних внешних черт», ссылаясь на рассказ «Метель»: «Но ведь и “Метель”, гр. Толстого, тоже внешняя картинка, однако же она постоит за себя» (с. 116).

Мастерство Толстого в рассказе «Метель» очень высоко ценил В. В. Стасов. Об этом он писал из Петербурга автору 20 января 1882 г. Восхищаясь «внутренними монологами», или, как их называл Стасов, «этими разговорами — solo, с самим собою», в только что вышедшем рассказе «Чем люди живы», критик писал: «Почти у всех раз-

говор действующего лица с самим собою является чем-то искусственным, условным и невероятным по форме. У вас же — это одна из высших ваших сил по правде и истинности. Разговоры solo, с самим собою, неправильное и капризное течение мыслей у человека являлись у вас chef d'oeuvre'ами всегда...», — и далее в числе других произведений Стасов называл рассказ «Метель» (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906. Л., 1929, с. 61).

Почти каждый, кто писал о раннем творчестве Толстого, обращался и к рассказу «Метель». О. Миллер в книге «Русские писатели после Гоголя» (Ч. 2. СПб., 1886) отмечал, что в этом рассказе мы «непосредственно с народом знакомимся». Известные черточки народного характера видел он в том, что рассказчик с ямщиком «пристали к другим путникам не потому, чтобы рассчитывали вслед за ними выбраться на настоящую дорогу, а в силу того, что, как говорит русская пословица, *“на людях и смерть красна”*». «Нерисующееся присутствие духа» в этих «людях не культурных, рабочих разного рода» обнаруживал О. Миллер. Как в кавказских рассказах «солдаты стараются ободрить себя различными рассказами о вещах совершенно посторонних, так и тут сбившиеся с пути извозчики <...> занимают себя рассказыванием сказок». А то, что «ямщик, выбившись совершенно из сил», передает барина в другую повозку, т. е. «сдает его на руки другим», расценивалось как чувство долга «даже в эту минуту общей опасности» (с. 279). «В высшей степени художественным» представлялся автору книги «удивительный сон, прямо переносящий нашего путешественника из зимы в лето: то утопание в снегу, которое, может быть, предстоит ему наяву, во сне принимает образ утопания в реке». «Но главный интерес рассказа» ученый видел «в характеристике народа, так же мало рисующегося и мало думающего о себе в минуту какой бы то ни было опасности, как и во время похода или осады» (с. 280).

По-своему взглянул на «Метель» журналист, писатель Ф. И. Булгаков. В его книге «Граф Толстой и критика его произведений, русская и иностранная» (СПб., 1886) основное внимание уделено не художественной стороне рассказа, а безысходности самой ситуации, в которой оказался путник. «Драматичностью отличается и положение героя рассказа “Метель”, — писал Булгаков. — Тут нет смерти; тут поэтически воспроизведены тяжкие минуты человеческого существования: страх гибели при полной беспомощности и ни для кого неведомой, среди снежной пустыни. И картина метели, когда кругом все бело, светло, снежно и неподвижно, когда не видно ни столба, ни жилища, ничего живого, когда коченеют постепенно все члены, подкрадывается усыпляющая смерть, возбуждает целую вереницу ощущений. Описание тревожного сна возвышается до изумительной поэзии. Драматизм в положении путника заключается в самом его психическом состоянии, которое вызвано изнурением от холода, от нескончаемо-длинной дороги и мыслью о неизвестности конца». Булгакову слышался и социальный мотив рассказа; находя «различие между человеком культурным и простым тружеником», он обращался к фигурам ямщиков: «Русскому человеку нередко приходится быть в таком трагическом положении в зимнее время, и кому, как ямщикам в “Метели”, испытывать это не в новинку, тем привычна трагичность подобного положения, и в них оно не возбуждает ни страха, ни фантастических опасений. Они покоряются всем неприятностям этого положения и поддерживают в себе бодрость настроения добродушной иронией» (с. 60).

В 1891 г. вышла книга литературно-критических очерков поэта С. А. Андреевского «Литературные чтения», где в очерке о Л. Н. Толстом автор касался и рассказа «Метель». Зоркость поэта-художника позволила Андреевскому увидеть в «Метели» то, мимо чего скользил обычно поверхностный взгляд критиков: «Там, где у другого останется в памяти лишь тусклое сплошное пятно без оттенков, у Толстого остается пестрый, многоцветный спектр. Так, у него есть рассказ “Метель”, содержание которого состоит только в том, что целую ночь мело и путник с ямщиком чуть не

заблудились, но эта мутная ночь, этот падающий снег и ничего более — дали Толстому обширный материал: чуть заметные перемены в температуре воздуха, освещении неба и направлении ветра, все переходы возрастающего обсыпания снегом ямщика, лошадей и дороги, все движения колеблющегося, падающего и крутящегося снега, — все это воспроизведено с такою полнотою правды, что “Метель” нисколько не скучна, потому что это повторение самой жизни...” (Андреевский С. Литературные чтения. СПб., 1891, с. 259—260).

В год 75-летнего юбилея Толстого, в 1903 г., в Петербурге вышел альбом «Гр. Лев Толстой. Великий писатель земли русской в портретах, гравюрах, живописи, скульптуре, карикатурах и т. д.» (сост. П. Н. Краснов и Л. М. Вольф). В этом альбоме было отведено место и рассказу «Метель»: составители опубликовали страницу рукописи Толстого под названием «Вечерние повести. М. Главитина. Мятель 12 февраля 18..¹ года», сопроводив ее подписью: «Автограф начала рассказа “Мятель” гр. Л. Н. Толстого» (с. 21). Однако это была ошибка: опубликованный автограф не имел отношения к названному рассказу, а являлся рукописью более позднего незавершенного сочинения². Воспроизводя автограф другого произведения, авторы здесь же давали краткую характеристику рассказу «Метель», отмечая, что «описание езды отличается особенной пластичностью». «В свое время, — сообщалось в альбоме, — эта повесть прошла незамеченною, как и большинство произведений гр. Л. Н. Толстого этого периода, когда литература наша была занята вопросами современными — гр. Л. Н. Толстой затрагивал вопросы, имеющие общий, постоянный характер» (с. 21).

В Европе первыми познакомились с рассказом французы: 26 мая 1870 г. газета «Русские ведомости» (№ 110) сообщала о печатании в Брюсселе на французском языке сборника избранных повестей русских писателей-беллетристов. В первый выпуск этого сборника был включен и рассказ «Метель». Через шестнадцать лет второй раз на французском языке он появился в книге избранных произведений Толстого в переводе И. Д. Гальперина-Каминского («Polikouchka». Paris, 1886). Как указывалось в книге, перевод был сделан с разрешения автора. Второе и третье издания этой книги вышли в 1896 г. Еще раз во Франции «Метель» была напечатана в собрании сочинений Толстого в 1903 г. (Т. 5. Paris). Для этого издания рассказ перевел французский литератор, переводчик Ж.-В. Биншток, а редактировал и комментировал текст П. И. Бирюков.

Отдельной книжечкой «Метель» вышла на словацком языке в 1883 г. («Metel. Poviedka». Turč. Sv. Martin, Izak, 1883 — в серии «Románová biblioteka») в переводе Й. Шкультеты. Через год это издание было повторено.

Первый английский перевод рассказа был опубликован в книге «My husband and I and other stories» (London, 1887 — Vizetelly’s Russian stories). Тогда же, в 1887 г., «Метель» дважды вышла в США: отдельным изданием в переводе Н. Х. Доула («The snow-storm», New-York) и в том же переводе в составе книги «The invaders and other stories» (New York). Эта книга через год была напечатана и в Англии (London, 1888). Новый перевод «Метели», сделанный К. Гарнетт, был издан в Англии в 1902 г. в книге «The death of Ivan Iyitch and other stories» (London). В 1904 г. рассказ появился сразу в трех изданиях в переводе Л. С. Винера: в Англии и США в собраниях сочинений Толстого (vol. 3. London; vol. 2. Boston) и в книге «A Moscow acquaintance» (Boston). Тогда же в Нью-Йорке вышла большая книга о Толстом Эдварда Штайнера, где была упомянута «Метель»: критик замечал, что «чувство природы — одно из толстовских художественных качеств», которое проявилось в рассказе, но во всей своей полноте оно раскроется в «Воине и мире» (Steiner Edward A. Tolstoy the man. New York, 1904, p. 98). Через год в Англии рассказ был опубликован (переводчики: С. Garnett и С. Hogarth) в книге «Master and man, and other parables and tales» (London, 1905). Эта книга вторым изда-

¹ В рукописи: 18[69] [79] 00

² В Юб. опубликовано под заглавием «Вечерние повести М. Главитина» (т. 90, с. 115—117).

нием вышла в 1910 г. в Англии и тогда же была напечатана в США (New York). В последний год жизни Толстого на английском языке вышел еще один перевод «Метели» в книге «More tales from Tolstoy» (London, 1910. Transl. by R. N. Bain).

Одновременно с первым англоязычным изданием в 1887 г. появился в печати первый немецкий перевод «Метели», сделанный Г. Роскошным (в книге «Russische Soldatengeschichten und kleine Erzählungen». Leipzig). Через год «Метель» была дважды издана в Берлине: в книге «Zwei Erzählungen» (Berlin, 1888) и в книге рассказов Толстого в переводе Л.-А. Гауфа «Der Schneesturm» (Berlin, Steinitz, 1888). В 1890 г. рассказ Толстого вошел в сборник «Realistische Novellen von L. Tolstoj und W. Korolenko» в переводе А. Шольца (изд. Фишера). Все следующие издания «Метели» на немецком языке при жизни Толстого выходили в переводе Р. Лёвенфельда. В 1891, 1897, 1901, 1910 гг. рассказ был представлен в собраниях сочинений Толстого и других книгах, изданных самим переводчиком в Берлине, Лейпциге, Йене.

«Метель» стала известна в Германии раньше, чем была переведена на немецкий язык. Уже в книге очерков о русских писателях немецкого литератора Ойгена Цабеля, изданной в 1885 г. (Zabel E. Literarische Streifzüge durch Rußland. Berlin, 1885), в очерке о Л. Н. Толстом шла речь и о рассказе «Метель». Более подробно критик анализировал рассказ в книге о Толстом (Zabel E. L. N. Tolstoi. Leipzig, Berlin, Wien, 1901), переведенной и изданной в России (Цабель Е. Граф Лев Николаевич Толстой. Киев, 1903. Перевод В. Григоровича). «Блестяще написанным очерком» представлялась «Метель» Цабелю; он отмечал, что «картина природы, которую разворачивает перед нами Толстой, <...> отличается очаровательной игрой красок». «И все-таки не природа, — с какой бы силой ни проявляла она себя, — составляет конечную цель этого рассказа, а характеристика людей, которым угрожает это сильное явление природы», — полагал Цабель и прежде всего обращал внимание на «типы кучеров-ямщиков, оригинального, характерного для России класса людей, у которых как-то странно перемешиваются одно с другим добродушие и лукавство и наблюдение которых, благодаря порядочной дозе то природного ума и находчивости, то замкнутости и строптивого своенравия, всегда представляет значительный интерес». В числе «представителей этого класса» критик видел и «подвижных почтовых ямщиков», и «неповоротливых обозных возчиков», и «кучера рассказчика, тяжелого, угрюмого человека», и «насмешливого, ловкого ямщика, который и приводит к благополучному концу это опасное путешествие». Рассуждения о «Метели» в книге Цабеля близки по форме к аналитическому пересказу; особенно старательно пересказывал автор сон путника, замечая при этом, что «так перепутываются действительность и фантастическое одно с другим». «Ночное путешествие под непрерывный вой метели» представлялось Цабелю «тяжелым кошмаром, который исчезает только утром, когда путники добрались до первого попавшегося кабака и крепким напитком оживили свои окоченелые члены. Пассажир оказывается беспомощным перед бушующей стихией, а простой человек и здесь неизменно сохраняет свое превосходство. Подобную же тему Толстой разработал позднее в “Хозяине и работнике”: богатый крестьянин и лошадь замерзают во время вьюги, а работник остается в живых» (с. 66—68).

В один год с первыми английским и немецким изданиями «Метель» в 1887 г. была напечатана в Швеции в книге «Bilder ur ryska samhällslivet» (Stockholm), а через год вышла на датском языке в переводе В. Герстенберга («Udvalgte fortællinger». Kjøbenhavn, 1888). В 1889 г. рассказ появился на чешском языке, в переводе Я. Яначека он был опубликован в книге «Spisy» (Sv. 2. Praha). Один раз «Метель» была издана в Испании, в книге «El ahorcado» (Madrid, 1892. — Colección de libros escogidos), и дважды на голландском языке: в 1904 и в 1908 гг. («De sneeuwstorm». Amersfoort, 1904. — Novellistische meesterwerken. 6.; и под тем же заглавием изд.: Amsterdam, 1908. — Blauwe bibliotheek № 9).

...уже очевидно целиком... — Целик — место без дорог, целина.

...обратные с той станции поехали... — Обратные — ямщицкие лошади, возвращающиеся со станции назначения домой, порожняком. Обратными называли и ямщиков.

Звук этой терции и дребезжащей квинты... — Терция — третья ступень диатонической гаммы. Квинта — тончайшая, самая высокая струна у некоторых смычковых инструментов.

...влез по шлее на одну из лошадей... — Шлея — часть конской упряжи, состоит из продольного ободового и поперечных ремней.

Мы тоже езжали с рядою... — Ряда — извоз, обозный промысел.

...сделав себе из армяка... — Армяк — крестьянский кафтан из толстого сукна.

...и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. — Здесь: валёк — толстая палка у передка экипажа, к которой прикреплялись постромки пристяжной лошади.

...удары валька по мокрому белью... — Здесь: валёк — плоский деревянный брусок с рукояткой для выколачивания белья при полоскании.

...держась за посконную юбку... — Посконный, то есть из поскони — домотканого холста из волокна тонкой конопли.

Показываются комола, облитые водой. — Комола — палки, к которым прикрепляются концы невода (бредня).

...употребить арнику... — Арника — лекарственное растение.

...спускала постромки... — Постромка — ремень (веревка), соединяющий валёк с хомутом при дышловой запряжке или у пристяжной.

Целовальник, должно быть... — Целовальник — торговец («сиделец») в винной лавке, кабатчик.

...с полуштофом в руке... — Полуштоф — старая русская мера водки, бутыл, равная $\frac{1}{20}$ ведра.